

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Веселые люди.

Степанида Ковалиха сгребла в своем дворе остатки камыша для топки, когда из-за камышевой изгороди выглянуло широкое лицо, принадлежавшее Соньке.

Степанида делала свое дело, низко наклонившись, и при этом мурлыкала какую-то песню, или, скорее, ворчала, потому что тон этой песни был сердитый.

— Тетка! А тетка!—окликнула ее Сонька.

Степанида подняла голову.

— Тетка Степанида! матушка кличет стирать,— сказала Сонька.

— Ладно! Приду!—совсем недружелюбным тоном ответила Степанида и опять занялась сгребанием камыша.

Сонька между тем продолжала стоять, хотя разговаривать, повидимому, было не о чем, так как она вполне точно исполнила свою миссию. Степанида сде-

лала вид, что не замечает ее и считает ушедшей, и опять замурлыкала свою песню.

— Тетка Степанида! А воды уже наношено,—проговорила Сонька, приправив тон своего голоса огромной порцией коварного лукавства и даже подмигнув пролетевшей мимо нее в это время ласточке.

— Ну, так что же?—не поднимая головы, спросила Степанида.

— Да ничего! А за камышом на огород я буду ходить! — продолжала Сонька, подмигивая вороне, севшей в это время на остатке крыши полуразвалившейся Евстафьевой кузницы.

Степанида промолчала; у нее вдруг опустился поднятый фартук, и из него с шумом высыпался на землю мелкий камыш. Степанида стала торопливо поднимать его, но он опять падал, потому что руки ее дрожали. Она чувствовала, что лицо ее покрылось краской, а потому нагнулась еще ниже. А жестокая Сонька, видя, что слова ее произвели желательный эффект, продолжала, на этот раз подмигивая всем птицам, которым случилось в это время пролетать мимо нее:

— А, ей-богу так! сама матушка велела; а то, говорит, Степанида долго копается, когда за камышом ходит, а стирка, говорит, спешная... И Панасову сорочку будем стирать...

Эта маленькая прибавка окончательно вывела из терпения Степаниду. Она швырнула в сторону непокорный камыш и грозно выпрямилась во весь рост.

— Да я тебе, голубка моя, задам тут такую стирку, что ты и к матушкиной хате дороги не найдешь,—закричала она, кидая дикие взгляды на Соньку, и при этом руки ее тряслись и, казалось, готовы были схватить за горло надоедливую гостью.—Ты чего тут вздумала корить?.. Ты видела? Говори: видела? видела? а?..

И невозможно описать, что показалось в эту минуту Соньке...

Ей показалось, что у Степаниды выкатились из глаз две крупные слезы, и губы ее перекошились, как будто она сейчас готова была зарыдать.

— Тетка... Степанида... Я не хотела...—чуть не плача сама, проговорила она и в это время уже никому не подмигивала.

Напротив, у ней сжалось сердце, и она чувствовала себя преступницей. Эти две крупные слезы как будто объяснили ей всю глубину горя этой женщины, и она, сама не зная почему, почувствовала, что никогда, никогда уже больше не была бы способна смеяться над ней. Она больше не решалась сказать ни слова и пошла домой медленной походкой и опустив голову.

Степанида пришла к матушке мрачная и в этот день стирала лениво, вяло, точно ее неволили; у ней был утомленный вид, будто перед этим ее в конец измучила лихорадка; ей все казалось, что взгляды, которые она встречала в этот день, были не такие

как всегда, что тон, которым с ней говорили о таких простых вещах, как белье, мыло, вода и прочие принадлежности стирки, был какой-то особенный, проникнутый тонкой, ядовитой насмешкой. И она старалась не поднимать головы и не отводить глаз от работы. После того, что сказала ей Сонька, она быстро нарисовала себе целую картину, которая заставила ее ужаснуться. Это, конечно, не кто иной, как Панас, рассказал всем. Ему, должно быть, захотелось похвастаться, что вот, дескать, он, безусый паренек, у которого еще на губах молоко не обсохло,—завладел этой неприступной молодницей. И теперь про это уже трубят все панычевские бабы, особенно те, которые сами не без грехов.

«Вот, мол, она—неприступная. Первому хлопцу кинулась на шею. Мужняя жена. Посмотрите на нее, добрые люди!» Конечно, это все так, как она думает, и теперь об этом знают и матушка и батюшка, весь свет... Откуда же могла узнать это лупоглазая Сонька? А, Панас! Вот ты каков! Сколько лет томилась Степанида в одиночестве, и вот—отдала душу предателю—Иуде.

Как нарочно, в этот день Панас ни разу не попался ей на глаза. Убегает! Еще бы! теперь ему стыдно ей в глаза смотреть. Ну, а она все-таки подстережет его, и еще как подстережет.

Уже и солнце давно зашло и коров отогнали в череду; совсем стемнело, а Панаса она до сих пор

не встретила. Но вот ей слышится свист из-за города; это его свист, уже это она хорошо знает. Никто во всем Панычеве не умеет свистать так звонко и раскатисто, как Панас. Она попрощалась с матушкой и пошла круговой дорогой, но потом круто повернула к полю. Там чернеет какая-то фигура. Степанида неслышно ступает, едва прикасаясь к земле босыми ногами. Он, конечно, не ждет ее, а ждет, может быть, Соньку, либо еще какую-нибудь третью. Ему что? Он—вольный казак...

Панас стоял на пригорке; он видел, как она шла к нему и как потом остановилась в пяти шагах от него. Лица ее он не разглядел, потому что было темно; но знал, что это Степанида.

— Не ждал меня?—каким-то странным голосом спросила она.

— А кого ж я ждал? — спокойно переспросил Панас.—Кого мне больше ждать? Матушку, что ли? Ха-ха-ха...

— Найдутся и без матушки. А меня тут ждать нечего... Дорогу, я думаю, знаешь... Или позабыл?..

— Не позабыл,—угрюмо ответил Панас,—а надо бы позабыть. Слушай, Степанида.—Он подошел к ней и положил руку на ее плечо.—Ты там подумала бог знает что... А я для твоей же пользы... Ты думаешь, мне легко позабыть ту дорогу? Э-эх! А ты послушай, что рассказывают... Эта мордастая Сонька, должно быть, выслеживала, каторжная девка... Тоже взгляды

кидает... Я и подумал:—теперь болтовня пойдет; станут выслеживать... Так пускай же эти собаки сто ночей простоят у твоей хаты, и ни одна ничего не увидит...

— А ты не брешешь? Нет?—Она прижалась к нему и своей горячей рукой приглаживала его волосы. Панас любовно обнял ее и не мог отвести глаз от ее пылавшего лица.

— Разве не видишь?—сказал он в ответ.

— Милый хлопче! Какой ты хороший да сердечный... А я подумала...

— Чего тут думать, Степанида? Я только и думаю, что о тебе да об...

— Ну? Об ком же еще?..

— Об мамке... Вот об ком... я ее встретил... я был у ней... Эх, лучше бы мне было не ходить туда.

Они присели рядом на влажной земле, и Панас рассказал ей о своем путешествии к Параске.

— Кожух этот она пропьет, я знаю. И все пропьет, пока будет жить в том гробу... Да заставь меня там жить, так и я, даром что не люблю водки, кажись, душу свою пропил бы с тоски... А теперь она уже опять голодает. Что я понесу ей? У меня ничего нет,—говорил он, рассказав ей все, как было.

Степанида порывисто сорвала платок с своей головы.

— Панас, голубчик! возьми это. У меня есть дома другой... Господи! Зачем я такая нищая?.. Ничего у меня нет.

— Что это ты?.. Еще и тебя обирать стану?.. Возьми, надень...

Но Степанида не взяла и не надела, а положила ему платок за пазуху сорочки.

— Не обижай,—прибавила она.

— Иди домой, Степанида. Уже поздний час; я побегу туда, к мамке...

— Посидим!—И она сильными руками притянула его к себе.

Никто не мешал им так сидеть, потому что в поле не было ни одной живой души, а тучи закрыли и звезды и месяц.

Когда Панас вернулся домой, было уже поздно. Все спали. Ему предстояло длинное путешествие. Прошла ровно неделя с того дня, как он был у Параски. Он не сомневался, что от кожуха уже и следов не осталось. Что же он понесет теперь? Степанидин платок? Он вынул его из-за пазухи и принялся рассматривать. Так,—тряпка какая-то, за которую грош дадут. Ишь, какая добрая Степанида. Последнюю тряпку отдала. Все его богатство заключалось в новой шапке да в чоботах, за которые что-нибудь дадут. Но отдать Параске чоботы—невозможно. Завтра же матушка спросит, куда девал их. Что он тогда скажет?—спрятал? Да, так она и поверит. Покажи—скажет. Нет, об этом и думать было нечего.

И голова его напрасно работала и изощрялась над вопросом, что снести мамке. Он сидел в конюшне.

Перед ним горела сальная свечка. Тусклый свет падал на лошадиные спины, на стены, увешенные сбруей, на самого Панаса. Он поднял голову и оглядел конюшню, как бы спрашивая взглядом: «нет ли тут чего подходящего?» И было мгновение, когда на лице его появилась странная улыбка, какой никогда еще не было на этом лице, — улыбка, смешанная со страхом, с вопросом, изумлением. Потом улыбка исчезла, губы побледнели и краска сошла с его лица, принявшего выражение какого-то страшного напряжения; брови сдвинулись, и на лбу появилась складка. Он встал и сделал шаг к стене, на которой были развешены разные принадлежности сбруи. Взгляд его остановился и как будто не мог оторваться от нового хомута, висевшего в углу. Этот хомут был куплен недавно и предназначался для новой, еще даже не существовавшей, а только заказанной брички, которая должна была поразить мир своей щеголеватостью. Бричка будет готова не раньше, как к осени, а к тому времени...

— Так, значит, воровским манером! — раздалось в конюшне среди глубокой тишины, и Панас тревожно оглянулся кругом, как будто не он сказал эти слова.

Кони повели ушами.

«Чуют, проклятые, — подумал Панас. — А разве я не заработал? а?» — мысленно обратился он к коням, как будто желая привлечь на свою сторону единственных свидетелей своего преступления. Ему пришел на память обещанный бычок. Пускай же он ей доста-

нется, а мне хомут. Ха-ха!—Он почти громко засмеялся, и этот смех как бы ободрил его.—За четыре года, кажется, можно хомут заработать,—привел он еще один ободряющий довод и вспомнил в это время, что уже довольно поздно. Если он еще будет копать, то, пожалуй, не успеет вернуться к рассвету. Хомут уже был в мешке, свечка погашена.—«Этого мамке надолго хватит».

Панас неслышно запер конюшню и воровской походкой, озираясь и прислушиваясь, прошел через город. Барбос безмолвно прыгал вокруг него, становился на задние ноги и лизал его лицо.

— Смотри, никому не рассказывай,—пошутил с ним Панас, и Барбос поглядел на него своими умными блестящими в темноте, глазами, словно одобряя Панасов поступок и обещая сохранить тайну в своем собачьем сердце.

Тяжела была ноша Панасова. Пробираясь окольной дорогой, еще более окольной, чем в ту ночь, когда нес свой кожух, Панас изгибался под ее тяжестью, оглядывался и часто останавливался в испуге, приняв какой-нибудь пень за живое существо. Раза три он становился как вкопанный, не чувствуя в себе силы итти дальше, и готовый вернуться назад. Но это длилось не больше одного мгновения. Ему приходил на память бычок, и он смеялся и вполголоса прибавлял: «Он уже ей достанется, он стоит хомута». Тогда он шел дальше, стараясь поддержать в себе веселое на-

строение. Когда впереди показалась слобода и он различил хату Параски, он с удивлением остановился. В такой поздний час (уже было за полночь) у мамки в хате светился огонь. Что бы это значило? Он подошел к окну. «Эге! Да тут большая компания. Слышатся тут и мужские голоса. Значит, пропивают кожух. Однако, им все-таки надолго хватило». И Панас с минуту колебался, не отнести ли ему хомут обратно в батюшкину конюшню, и не повесить ли его на прежнее место. Что толку будет в том, что он отдаст его мамке? Все равно пропьет в компании, как пропила кожух. Но в это время в голове его ясно пронесли слова, которые он сам же сегодня сказал Степаниде: «Заставь меня жить в этом гробу, так я душу продал бы чорту, даром что не люблю водки». И правда. Потому что это действительно был гроб.

Он твердо постучал в окно и тут же крикнул:

— Это я, Панас.

— Га-а! Панас... Вот так гость!—ответили разом несколько голосов. Тут был и голос его мамки, хриплый и пронзительный.

«Она совсем пьяна, должно быть»,—решил Панас, судя по голосу.

Его впустили в хату. О, что это была за веселая компания. Правда, их было немного—всего четверо, но они производили такой шум, как будто их была сотня. Фроська—это сожительница Параски—восседала на коленях у военного человека, который по

своей приличной внешности имел полную возможность подыскать себе более опрятную подругу жизни. Он был моложав, статен, обладал густыми усами,—которым, очевидно, не знал цены, вследствие чего содержал их в полном беспорядке,—и бакенбардами рыжего цвета. Другой гость также принадлежал к военному сословию, но был значительно постарше и гораздо менее изящен. Лицо его обросло наполовину седыми волосами, и эти волосы покрывали буквально все лицо, за исключением лба и носа; на голове лоснилась лысина, столь же широкая, как и голова, притом сероватого цвета, благодаря примкнувшим к ней посторонним телам. На столе стояла воткнутая в бутылку горящая свечка, штоф, до половины налитый жидкостью, и щербатая чайная чашка. Закуски никакой не было видно. Ясно, что она здесь была не в моде.

Панасу предложили сесть. Он уже положил ношу в углу. Он нисколько не рассчитывал засиживаться в приятной компании; ему только хотелось сказать два-три слова Параске,—именно, попросить ее, чтобы она с хомутом обошлась менее легкомысленно, чем, повидимому, обошлась с кожухом.

— Я не пью,—сказал он.

— Будто не пьешь?—очень и очень недоверчиво спросила Параска.

Она была глубоко убеждена, что только очень счастливые люди могут не пить, и не имела никакого основания считать таковым своего сына.

— Ей-богу, мамка, не пью!—ответил Панас.

— Пе-э-эй!—провизжала Фроська и при этом сделала заметное усилие привстать, что, однако, ей не удалось.

— А ну, Панас! за мое здоровье!.. Ну...—проговорила Параска, выхватив чашку у своего кавалера и чуть не выплеснув водку на его лысину.

— А ей-богу же, мамка!..—опять начал было упираться Панас, но чашка была уже у его рта и он ощутил запах водки.

Тогда, чтобы поскорее отделаться, он выхватил ее и залпом осушил дō дна. Крик восторга приветствовал этот подвиг. Таким же путем заставили его выпить и вторую. Но дальше уж ему стало неважно. Он поднялся и, не попрощавшись, быстро вышел.

— Приходи ты!—крикнула ему вслед Параска.

— Приду!—ответил он себе под нос и помчался по направлению к Панычеву.

От водки у него горело лицо и по всему телу бежали мурашки.

«Надо вытащить мамку из этой ямы»,—твердил он целую дорогу и чувствовал в груди своей такую решимость и уверенность в удаче, что ни одна мрачная мысль не пришла ему в голову.

Уже немного оставалось до рассвета, поэтому он буквально бежал рысью.

Он прошел прямо на город и, наскоро повидавав сена из скирды, схватил его в охапку и понес в ко-

нюшно медленным шагом. В это время вышла матушка с своим неизменным фонарем. Она пристально поглядела на Панаса.

— Дуже рано встаешь, хлопче! — подозрительно заметила она.

Ей уже давно казалось, что с Панасом делается что-то особенное.

Панас, у которого до сих пор шумело в голове, почувствовал против обыкновения сильное желание вступить в разговор с матушкой.

— Господь его знает, как и угодить!.. То дуже поздно, то дуже рано,—ответил он слишком твердо и слишком грубо, чтобы не раздражить матушку.

Но матушка и на этот раз смолчала и только сильно прикусила нижнюю губу.

«О-о!—подумала она:—его надо укротить! А то он скоро на меня кидаться начнет. Тут что-то такое не ладно. Как бы он не снюхался с кем-нибудь?»

И она решила с этих пор усилить надзор за Панасом.

II.

Темные ночи.

В знойную летнюю ночь, когда утомленный месяц, поручив звездам надзор за спящей землей, сам уходил на покой; когда все тени сливались в одну необъятную тень, разом покрывавшую огромную равнину, и Днепр, и село с его хатами, церковью, кладбищем

и кабаками; когда не было слышно ни лая собак, ни шелеста пожелтевшей от солнца травы, и даже неугомонный ветер, не устающий в продолжение дня обдавать все живое и растущее своим знойным дыханием, затихал, как бы для того, чтобы набраться свежих сил для грядущего дня; когда бодрствует только тот, кто не может свершать среди белого дня темное дело,—в такую ночь, за помещичьим током, в глубокой балке, происходили долгие разговоры между Панасом и его подругой. Это место было защищено от случайного любопытства. Оно лежало вдали от большой дороги, к нему не было проложено ни одной тропинки. Во время свиданий Панас смотрел слишком серьезно и сосредоточенно и мало походил на нежного любовника. Он почти всегда молчал, а Степанида не уставала говорить таким тихим шопотом, который даже в этой тишине ночи нельзя было слышать на расстоянии одного шага. Панас едва ли сознавал, о чем была речь. Он в это время почти всегда думал о другом. Здесь они засиживались далеко за полночь, и только когда из села доносилось пение вторых петухов, они тихо, неслышно отправлялись каждый в свою сторону.

В такую же темную ночь, только когда дул ночной ветер, а еще лучше когда звезды закрывались дождевой тучей,—можно было видеть Панаса за его ночным делом, которое давно уже перестало быть для него новым и сделалось простой привычкой, как в ту

ночь, когда он впервые тащил свою преступную ношу, неслышно ступая через город, сопровождаемый верным Барбосом, который так же, как и Панас, привык уже к таким путешествиям. На месте хомута перебивали уже разные принадлежности хозяйства отца Макария. Тут сыграли свою роль и просо, и жито, и ячмень, и куриные яйца, и даже, однажды,—пара жирных гусей, которым Панас предварительно оторвал головы, и исчезновение которых из стада на другой день наделало много шума и извлекло из уст матушки много горьких истин по поводу безнравственности соседей. Но чаще всего Барбосу приходилось обнюхивать мешок с овсом. Этот продукт, составлявший десертное блюдо батюшкиных коней, находился в полном распоряжении Панаса. У него были ключи от кладовой, в которой хранился овес.

В эти ночи он мог спокойно возвращаться в конюшню и продолжать прерванный сон, потому что теперь ему не приходилось тащить свою ношу в слободку. Благодаря частому опыту и некоторой даже регулярности, дело само собой упростилось. Он относил свой мешок не дальше балки, в которой проводил другие, более поэтические ночи; здесь он оставлял его, как ненужную вещь, и затем возвращался домой. Земляки частенько видели в часы рассвета очень бедно одетую женщину, шагавшую по направлению к городу с тяжелой ношей на плечах. Иногда она слишком низко изгибалась под своей ношей,—тогда земляки

жалели ее и брали беднягу на свои возы. Она рассказывала им, что живет на каких-то хуторах, верстах в тридцати от города, а в городе у нее дочка за солдатом. Вот дочке-то она и несет кое-что. Эта женщина была Фроська, которая в этих случаях бывала совсем трезва и имела почтенный и внушающий доверие вид.

Все это делалось так просто и легко, что Панасу и в голову не приходило осуществить свою мечту — покинуть матушку или довести ее до того, чтобы она прогнала его. Он и работал теперь усерднее, потому что считал себя хорошо вознагражденным, — работа не пропадала даром. Его часто видели веселым, иногда даже можно было подумать, что он выпивал. Раз за обедом Улита прямо объявила, что от него несет водкой, а Панас и не думал отвергать эту злую клевету. Мрачные мысли посещали его только тогда, когда он отправлялся на балку и, сидя рядом со Степанидой, слушал ее бесконечный шопот. Тогда он почему-то совсем иначе смотрел на свои ночные дела. Он передавал Степаниде все, что было у него на душе, но об этих делах никогда не сказал ни слова. Сколько раз порывался он рассказать ей все. И язык не повиновался ему: из уст его выходили слова совсем не те, которые были в голове. И всякий раз, когда он убеждался, что этого не может рассказать ей, он вдруг начинал ясно видеть пред собой пропасть, к которой шел; его поведение рисовалось ему в мрач-

ном свете, и он вздрагивал от присутствия этого существа, не разделявшего его преступления. Иногда он питал к Степаниде недружелюбное чувство именно потому, что не в силах был сказать ей всю правду. В эти минуты он страдал, но потом все это проходило, и он продолжал укрепляться в своей привычке. Все заметили, что Панас худел с каждым днем, и глаза его, смотревшие прежде так прямо, спокойно, теперь как будто избегали чужого взгляда. Больше всех заметила это Сонька. О, она многое замечала, потому что никто, не исключая самой матушки, не следил так пристально за каждым шагом Панаса, как она. Она многому удивлялась, многого не понимала и делала широкие глаза, но потом перестала удивляться. Она тоже худела, и еще заметнее, чем Панас.

С ней произошла большая перемена. Она возмужала, окрепла и уже не смотрела подростком. Ее худевшее лицо сделалось менее широким и много от этого выиграло. Взгляды, которые она посвящала Панасу, были долгие и исполненные какой-то сладострастной тоски. Матушка утверждала, что она совсем «отбилась от рук», и для того, чтобы приручить ее, несмотря на девический возраст Соньки, нещадно таскала ее за волосы. Сонька, действительно, только и делала, что разбивала посуду, опрокидывала самовар с горячей водой, при чем обваривала случайно подвернувшегося цыпленка, наступала матушке на платье, батюшке на ноги, словом,—делала все, что могло вы-

звать у матушки разлитие желчи; на тумачи и дранье за волосы она не обращала внимания и, казалось, даже не чувствовала боли при этих операциях.

Наступила осень. Ее дождливые, ветряные ночи сделались любимыми ночами Панаса, потому что прикрывали его работу. В одну из таких ночей, когда Панас взял на свои плечи слишком большую ношу и, проходя через город, должен был останавливаться и класть ее на землю для того, чтобы отдохнуть,—ему показалось, что из-за скирды сена выдвинулась человеческая фигура. Он вздрогнул и, нагнувшись к мешку, притаился. Фигура между тем придвигалась к нему. Барбос, всегда сопровождавший Панаса, начал издавать тихое, недоверчивое ворчание, потом словно узнал приближавшегося и завилял хвостом. Узнал его и Панас. Он выпрямился во весь рост, и в глазах его сверкнула страшная злоба.

— Всюду чорт ее носит, эту собачью девку!—с бешенством произнес он.—Она стоит у меня, как кость поперек горла!..

— Тс!.. тише! разве ты меня боишься, Панас?—прошептала Сонька.—Я давно уж знаю... Что ж, думаешь, выдавать стану? Да я помогать тебе хотела бы. Я хотела бы, чтоб в одну какую-нибудь ночь унесли все, что у нее есть, все ее добро!.. Она допекла меня!..

— Чего ты притащилась?—недружелюбно спрашивал Панас, и глаза его попрежнему сверкали злобой.

Сонька в одно мгновение подбежала к нему и обвила его шею руками. Панас напрасно старался оттолкнуть ее. Она прижималась к нему всем своим дрожащим телом и, казалось, готова была задавить его.

— Панас!.. Уйди отсюда и возьми меня с собой... Я буду служить тебе, как работница... Я не могу так жить... Сил нету. У меня сил нету... Я слежу за тобой. Когда ты идешь к ней туда, в балку... Я смотрю тебе вслед... Я подхожу издали, чтобы посмотреть, как ты ее обнимаешь... И ты видишь—я сохну...

Ее речи были похожи на бред. Панасу она показалась страшной, готовой на самый решительный шаг. Он старался мягко отстранить ее, потому что боялся резко оттолкнуть. Притом он почувствовал сожаление к этой бедной, некрасивой, всеми брошенной, осиротелой девчонке, и ему захотелось сказать ей какое-нибудь ласковое слово.

— Постой, девка, постой. Не теперь... Я скоро уйду отсюда совсем. Тогда и пойдем вместе... Теперь иди себе... Услышат—накроют... Иди, иди...

— Тогда возьмишь?—спросила она, как будто вдруг ослабев и опустив руки.

— Тогда, тогда!—пробормотал Панас, пригибаясь к мешку.—Помоги мне поднять на плечи... Поддай...

Она взвалила ему на плечи мешок.

— Кому это? Ей?—спросила она.

— Дура ты! Какой «ей»? Мамке!..

Сонька изумилась.

— Мамка,—продолжал Панас,—живет на Слободке. Жрать ей нечего... Иди, Сонька, иди... Не то заметят...

Она машинально повернула во двор и, шатаясь, побрела к комнатам.

«Как бы с нею не нажить беды! Ох, бедовая девка!»—подумал Панас. Но в то же время он почувствовал, что прежнее отношение его к Соньке, после этого разговора, как-то вдруг переменялось. Произошло ли это оттого, что она высказала ему горячую привязанность, или оттого, что она—и одна она—знала его тайну и этим как бы держала его в руках; или, может быть, он увидел, что Сонька теперь была уже не прежним неуклюжим и глуповатым подростком, которого не обижал разве тот, кому было некогда,—что она превратилась в девушку, способную на горячую привязанность и на решительное дело... Отчего бы это ни произошло (может быть, и от всего вместе), но он на этот раз не мог уже отнестись к Соньке так безразлично, как относился прежде. Он чувствовал, что этот разговор связал их крепкими нитями, и что с этих пор, где бы он ни был, часто будет думать, вспоминать о Соньке. Кроме того, в ней он увидел верного и притом бескорыстного союзника. Теперь уже он не боялся, что она расскажет всем про его связь со Степанидой. Не такая она, чтобы подставила ему ножку. За что это, однако, так любят его бабы? Кроме Степаниды и Соньки, есть, кажется, еще одна, которая смотрела на него

не так, как смотрят все. Но у той было такое спокойное, правдивое лицо, она смотрела на него с такой детской доверчивостью, что в этот час, когда он несет на своей спине преступную ношу, ему обидно вспоминать о ней. Та не для него. Пускай она будет счастлива с хорошим человеком, с честным хозяином, которому бог дал свое поле, и который не дрожит в осеннюю ночь, оглядываясь по сторонам и боясь встретить взгляд другого человека.

Эх, как, однако, далеко зашел он в той работе, которая так просто и невинно началась с его собственного нового козуха...

III.

Хозяйский глаз.

Осень близилась к концу. Подул холодный, пронзительный ветер; утренняя роса на пожелтевших, опадающих листьях деревьев превращалась в иней. Панычевцы оделись в козухи; только самые прыткие, и то больше из хвастовства, ходили в одних сорочках, а иные еще выставляли напоказ свою волосатую грудь. Панас находил, что вовсе еще не так холодно, а иногда даже уверял, что ему жарко. Пришел, однако, филиппов пост и выпал снег. Тогда уже все панычевцы оделись потеплее, и не находилось между ними ни одного, который вздумал бы из хвастовства утверждать, что зима еще не пришла. Однажды ма-

тушка видела, как Панас, после того как привез с Днестра бочку с водой, крепко потирал свои руки и размахивал ими, как ветряная мельница своими крыльями. «Отчего это он козуха не наденет?»—мысленно спросила самое себя она, и так как на этот вопрос ответить было не легко, то она вышла к Панасу.

— Эй, Панас! Чего ты ежишься? Разве у тебя нет козуха?—спросила она.

— Как нет козуха? Куда же ему деваться?—спросил в свою очередь Панас.

— Так что же ты его для лета, что ли, бережешь? а?

— Что же я буду делать с ним летом?—неопределенно ответил Панас.

— Отчего не наденешь?

— Еще рано. Разве это мороз? Какой же это мороз?

Нечего говорить, что эти ответы в вопросительной форме нисколько не удовлетворили матушку.

«Не я буду, если он его не пропил!—мысленно сказала она себе.—Пусть я не буду больше матушка, если от этого козуха хоть след остался!»

Тут же матушка решила произвести внезапную ревизию. Она нашла, что воды привезено мало, и отослала Панаса за второй бочкой. Едва только он выехал со двора, как матушка дала поручения Соньке и Улите. Сонька должна была сходить к супруге церковного старосты и осведомиться, не

едет ли ее муж завтра в город. Улита получила приказание спуститься в погреб и там заняться перестановкой кувшинов с молоком. Убедившись, что из неприятельского лагеря никого не осталось на дворе, матушка направилась в конюшню. Здесь она принялась рыться в Панасовой кровати и, кроме соломы, рядна и чего-то в роде подушки, ничего не нашла. Она заглянула в ясли, осмотрела стены.

«Кожуха нет! Он его пропил, чтобы мне не дожить до рождества, если это не правда!» — окончательно решила матушка.

В это время взор ее дошел до того угла, где обыкновенно висел новый хомут.

— А-а! Новый хомут исчез! А-а! Завтра привезут бричку, а хомута нет! Эге-ге! Так вот оно что! Это не все! Нет, нет, это не все!

Она тихо заперла конюшню, сходила в чулан и взяла там ключи от всех сараев, амбаров и других вместилищ ее добра. Она входила неслышно, как тень, словно собиралась воровать собственное добро. Всюду она видела следы злодейской руки. Даже там, где все было цело, ей казалось, что унесена половина. Она констатировала убыль жита, пшеницы, проса, а когда вошла в чулан, где хранился овес, остановилась в оцепенении. Овес почти весь исчез, тогда как был сделан запас на всю зиму. Гнев ее не имел границ, но у нее все-таки хватило твердости воздержаться от излияний и уйти из чулана так же тихо,

как вошла в него. Она удалилась в свою спальню и ни слова не сказала отцу Макарию, который в это время в соседней комнате любовно разговаривал с канарейкой и переменил ей воду.

— Смотри, душа моя,—обратился к матушке отец Макарий, глядя в окно и указывая пальцем по направлению к реке, откуда, сидя на бочке, ехал Панас:—отчего ты не распорядишься, чтобы Панас надел свой новый кожух, который я купил ему? Посмотри, как он жметя! Пожалуй, еще простудится, и люди скажут, что мы плохо одевали его!..

— О! Это пустое, отец Макарий! — совершенно равнодушно ответила матушка.—Что ему станется? У этого народа кожа толста, как у кабана... Вот еще выдумал—простудится! Разве они когда-нибудь простуживаются?..

— Но как же, мать моя, ты говоришь «пустое», когда на дворе крещенский мороз стоит? Ты подумай, что люди скажут?..

— И все-таки я скажу, что это пустое! Притом я уже говорила ему. Он так и сказал мне, что это еще не мороз, и что ему даже жарко... Кстати, завтра привезут новую бричку? а?

— Да, должно быть, завтра. А что?

— Ничего. Ты прикажи Панасу вычистить новый хомут. Надо, чтобы все было готово.

Когда Панас вернулся, батюшка позвал его к себе в кабинет.

— Завтра привезут новую бричку, Афанасий! Так ты приготовь сбрую. Мы завтра же покатаемся.

Панас вздрогнул и промолчал. Потом ему пришла хорошая мысль.

— Теперь снегу довольно. Можно бы и на санках..

— Это само собой! А бричку надо будет попровать. Понимаешь?

— Понимаю!—ответил Панас, потому что он действительно понимал это, но не мог только понять—откуда ему взять новую сбрую.

— Да вот еще что,—продолжал отец Макарий:—почему ты не носишь кожуха?

— Да мне еще не холодно!

— Смотри, не захвати простуды! Ну, ступай себе с богом.

Панас ушел опечаленный, даже потрясенный. Какое-то смутное предчувствие подсказало ему, что случилось что-то особенное. Это совпадение разговора о кожухе с прибытием брички намекало ему на какую-то заднюю мысль, которая чудилась во всем этом его испуганному воображению. Какова же была его радость, когда приехавший на другой день из города церковный староста привез известие, что бричка еще не готова и доставка ее отсрочена по крайней мере на месяц. К этой радости прибавилась еще другая: солнце выглянуло из-за туч и распустило снег—оттепель позволяла позабыть о кожухе, и он почти успокоился.

Можно было подумать, что выглянувшее солнце не ограничилось тем, что растопило снег и окрасило прозрачный воздух в яркий цвет весеннего дня; можно было подумать, что на этот раз оно заглянуло вглубь матушкиного сердца, растрогало и размягчило его своим теплым лучем. Любезность, которую матушка стала проявлять относительно Панаса, не имела границ. Казалось, что матушка задалась целью фактами доказать свое изречение, которое она предъявляла всем, находя, что для этого все случаи удобны, именно: «мы его любим, как родного сына». Не успел Панас покончить свои утренние ухаживания за лошадьми, как к нему уже шлют Соньку:

— Панас, иди, матушка зовет! Чай будешь пить!

— Ха-ха,—от души смеется Панас.—Вот история! Панас будет чай пить!

Тем не менее он отправляется к матушке, и не куда-нибудь, а прямо в столовую. Здесь ему не делают только одной чести—не сядят за стол; но это ничего, он может постоять и у порога. И вот он стоит у порога, держа в одной руке блюдо с чаем, в другой кусок сахара. Он прилежно дует на блюдо и, издавая губами особый мелодический звук, втягивает в себя теплую влагу. Это доставляет ему чисто идеальное наслаждение, так как самый чай представляется ему очень странным напитком, которому он охотно предпочел бы кувшин хлебного квасу, но он не может не оценить особую честь, оказанную ему

матушкой. Перед обедом его опять зовут к матушке.

— Вот, Панас, выпей! Ты трудишься!—говорит матушка, протягивая ему рюмку с водкой. И какой у нее при этом ласковый голос!

«Ей богу, тут творятся какие-то чудеса. Матушка как будто бы другая: старая словно исчезла, а на место ее бог дал новую, получше». Перед ужином опять рюмка водки... «Да что же это такое, наконец? Уж не вздумала ли матушка покаяться в своих грехах? А оно и пора бы было. С Сонькой тоже стала обращаться иначе. Вот уж третий день, как ее не таскает за волосы. Словом, настали благодатные времена». В довершение же всего, матушка однажды позвала к себе Панаса и сказала ему:

— Смотри, Панас, хорошенько за бурой коровой. Потом она будет твоя. И бычок от нее твой, да и ее я тебе дарю.

Панас, изумленный и поверженный в прах, трижды поцеловал матушкину руку. А матушка прибавила:

— Мы о тебе, как о родном сыне, заботимся...

Нужно заметить, что упомянутая корова не подавала еще никаких надежд на то, что она подарит Панасу бычка. До весны еще было далеко.

Между тем матушка распространила лучи своей любезности и еще на некоторых особ, которые по своему общественному положению не имели ни малейшего права претендовать на это. Так, она, несмо-

тря на то, что была очень тяжела на подъем и почти никогда не заходила дальше ворот собственного дома, сделала визиты младшему приказчику, объездчику, церковному старосте и всюду вела какие-то таинственные разговоры.

И вот настала ночь—такая темная, беззвездная ночь, каких не бывало даже осенью. Снег падал тяжелыми хлопьями, а ветер разрывал их и развевал по всем закоулкам двора. Панас не мог дожидаться лучшей ночи для того, чтобы снести свой мешок на балку. Этот мешок, наполненный доверху всякой-всячиной, уже два дня ждал своей участи, скромно помещаясь в конюшне под Панасовым ложем. С Параской было условлено, что она придет на балку в первую темную ночь. И вот он, взвалив на плечи тяжелую ношу, выходит из конюшни с видом человека, который делает свое обычное дело уверенно и твердо. Он, конечно, не обратил внимания на то, что одна половинка ставни у окна, выходившего на двор из матушкиной спальни, была на этот раз приотворена, и что в то время, как он выходил из конюшни, чье-то широкое лицо припало к стеклу и пара чьих-то зорких глаз с напряжением смотрела на дверь конюшни. Не мог он знать и того, что тотчас же в спальне матушки произошло бесшумное движение, открылась дверь в сени, из сеней на двор и тяжелые стопы, на этот раз оказавшиеся легкими, как воздух, направились вслед за ним. Но он уже должен

был ясно услышать, как позади его, в то время, как он проходил через город, раздался громкий кашель:

— Кха! кха! кха!

Тогда ноша свалилась с его плеч и тяжело грохнулась о мерзлую землю. Первой пришла ему в голову мысль о Соньке. Но перед ним стояла крупная фигура с закутанным в платок лицом,—слишком знакомая ему фигура, чтоб он мог сомневаться. Кровь застучала у него в висках; было мгновение, когда он готов был кинуться на врага и сдавить ему горло. Но не успел он подумать об этом, как увидел себя окруженным. С разных сторон подоспели: сторож, церковный староста, объездчик и младший приказчик.

«Ловушка!»—подумал он и бессильно опустил руки. Сопротивление было бесполезно.

— Молодец, хлопче! Молодец!—промолвила матушка голосом, полным самой горькой насмешки.— По мамке пошел...

— Так-то ты благодаришь матушку за благодеятельство! а? — покачал головой церковный староста, той самой головой, которая еще вчера была пьяна.

Панас молчал, и какие-то смутные мысли бродили в его голове. То ему приходила мысль—вдруг пуститься со всех ног и исчезнуть под прикрытием глубокого мрака; то хотелось вдруг высказать все, что у него накопилось против матушки,—и про мам-

ку, и про бычка, и про заработок... Потом пришла такая мысль: «Нет, про мамку-то я им ни слова не скажу, хоть бы они из меня жилы тянули». То, казалось, что из этого ничего не выйдет, что теперь все кончено, потому что вся деревня будет об этом говорить. В результате он решил отдаться на волю судьбы; пусть будет, что будет.

— Вот какова благодарность!—говорила между тем матушка.—Поверите ли, я его ублажала, как родное дитя! Что ему было нужно? Одели его, обули, выкормили; я ему бычка подарила, а не дальше, как вчера, отдала ему бурую корову! И хотя бы на что-нибудь он мог пожаловаться! Мало того, что на кухне едят они до того, что брюха ихние чуть не трескаются, мало, говорю, этого—я его звала к себе в комнаты, поила его чаем: «на, Панас, пей!» Перед обедом — рюмка водки, перед ужином — рюмка водки...

В это время Барбос, как бы почуяв, что над его повелителем стряслась беда, поднял неистовый вой. Его примеру последовал весь наличный состав матушкиных собак. Разбуженные этим воем, индейки, гуси, утки и куры подняли негодующие крики. Улита схватилась с печи и как сумасшедшая, с раздражающим криком, кинулась во двор, потом на горód. Сонька вообразила, что случился пожар, и, бессмысленно махая руками, бегала по двору, напрасно стараясь отыскать, где горит. Батюшка, шепча молитву, спокойный

и величественный, но смертельно бледный, вышел в зимнем полукафтани. Некоторые из соседей, разбуженные воем и криком, прибежали с вилами, граблями, лопатами и разными другими земледельческими орудиями, так как в деревне эти орудия употребляются во всех затруднительных случаях, начиная от пожара и кончая нашествием саранчи. Все это собралось вокруг Панаса, который стоял над своим роковым мешком, бледный и дрожащий. Каждый новоприбывший давал матушке повод повторить рассказ про рюмку водки перед обедом, рюмку водки перед ужином, про чай, про бычка и про бурую корову. Принесли фонарь и заглянули в мешок. Боже! Чего только не было в этом мешке? Вот вывалились пара безголовых уток; вот новый коверчик, который недавно матушке подарили прихожанки; вот четыре куса свиного сала, а под ними—старая седелка, которая давно считалась пропавшей; далее—шерстяной фартук матушки, накрахмаленная и выглаженная сорочка Алеши с отложными воротничками, торбочка с гречневой крупой, бархатный пояс отца Макария, вышитый бисерными узорами, а на самом дне—плотно закупоренный казанок с шинкованной кислой капустой. Вот так базар! Очевидно, сюда забиралось все, что попадалось под руку.

— Хорош! Хорош!—повторяла матушка.—Вы думаете, это все? Как бы не так! Это, я полагаю, ведется уже года три. Он вытаскал у меня половину

жита, пшеницы, проса, половину птицы перерезал, овес же весь начисто забрал!

— А-а!—с изумлением протянула публика.

— Да и это еще не все!—продолжала матушка.— А ну-ка, пусть он скажет, где его новый кожух, который батюшка купил ему прошлой зимой? Где? Ну?

Панас молчал. Зачем ему говорить? Позор его доведен до крайних пределов. Уже и теперь, несмотря на глубскую ночь, какая-нибудь нетерпеливая баба наверное побежала на село и оповестила, что Панаса поймали в воровстве. Он не ощущал в груди своей ни страха, ни желания защищаться, сказать что-нибудь в свое оправдание. Да и что сказать? Пойман на месте, значит—вор. Вот и мешок, и все, что из него вынули. Разве все это не убеждает всякого, что он вор? Одно только явственно ощущал он в груди своей—это глубокую, бешеную ненависть к матушке, которая стояла перед ним и с каждой минутой все больше и больше унижала его перед народом. Эта ненависть росла в нем с каждым ее словом и доходила до страшных размеров. От нее, а не от чего другого, дрожал он всем телом и глаза его искрились.

А матушка продолжала:

— Кожух он давно пропил! А вот пусть-ка он скажет, куда девал новый хомут, за который отец Макарий заплатил сорок карбованцев? Пусть-ка он это скажет! Молчишь? А? Пропил? А?

— Пропил! — твердо ответил Панас.

Все переглянулись, как будто ожидали, что он станет отрицать свою вину. В это время из волостного правления пришли двое десятских. Им рассказали, в чем дело.

— Связать его, что ли? — спросил один из них.

Неужели его свяжут и поведут через деревню в то время, как будет всходить солнце? Все выбегут и будут смотреть на него. И Горпина выйдет... Как то она посмотрит? И Степанида? Нет, Степанида не выйдет... Пусть лучше не выходит. Думала ли она, что ее милый парень окажется вором...

— Не надо вязать. Оставьте! — великодушно решила матушка. — Куда он уйдет? Все видели, все знают. Итти ему некуда! Идите, добрые люди, по домам!.. Уже свежееет, скоро и солнце подыметя!.. Я не хочу судиться!.. Бог с ним. Я не зла! Когда он так отплатил мне за мою доброту — пускай его бог накажет, а не я... Нет, не я!..

Добрые люди совсем неохотно стали расходиться. Они вовсе не были довольны тем, что представление так скоро окончилось. Они разошлись, сопровождаемые страшным лаем Барбоса и его подражателей. Остались только церковный староста, сторож и приказчик. Панасу было позволено уйти в конюшню. Там он засел один и хотел бы никогда не выходить оттуда, хотя бы там пришлось околеть с голода.